

ский Д. Из Собрания стихов (1904), Собрания стихов (1910) и Полного собрания сочинений (1912) fil  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Мережковский Д. Из "Собрания стихов" (1904), "Собрания стихов" (1910) и  
"Полного собрания сочинений" (1912)  
«Так жизнь ничтожеством страшна...»

Так жизнь ничтожеством страшна,  
И даже не борьбой, не мукой,  
А только бесконечной скукой  
И тихим ужасом полна,  
Что кажется – я не живу,  
И сердце перестало биться,  
И это только наяву  
Мне все одно и то же снится.  
И если там, где буду я,  
Господь меня, как здесь, накажет –  
То будет смерть, как жизнь моя,  
И смерть мне нового не скажет.

3 июля 1900

ДВОЙНАЯ БЕЗДНА

Не плачь о неземной отчизне  
И помни, – более того,  
Что есть в твоей мгновенной жизни,  
Не будет в смерти ничего.

И жизнь, как смерть, необычайна...  
Есть в мире здешнем – мир иной.  
Есть ужас тот же, та же тайна –  
И в свете дня, как в тьме ночной.

И смерть и жизнь – родные бездны:  
Они подобны и равны,  
Друг другу чужды и любезны,  
Одна в другой отражены.

Одна другую углубляет,  
Как зеркало, а человек  
Их съединяет, разделяет  
Своею волею навек.

И зло, и благо, – тайна гроба  
И тайна жизни – два пути –  
Ведут к единой цели оба.  
И все равно, куда идти.

Будь мудр, – иного нет исхода.  
Кто цепь последнюю расторг,  
Тот знает, что в цепях свобода  
И что в мучении – восторг.

Ты сам – свой Бог, ты сам свой ближний,  
О, будь же собственным Творцом,  
Будь бездной верхней, бездной нижней,  
Своим началом и концом.

Между 1895 и 1899

«О, если бы душа полна была любовью...»  
О, если бы душа полна была любовью,  
Как Бог мой на кресте – я умер бы любя.  
Но ближних не люблю, как не люблю себя,  
И все-таки порой исходит сердце кровью.

О, мой Отец, о, мой Господь,  
Жалею всех живых в их слабости и силе,  
В блаженстве и скорбях, в рожденье и могиле.  
Жалею всякую страдающую плоть.

И кажется порой – у всех одна душа,  
Она зовет Тебя, зовет и умирает,  
И бредит в шелесте ночного камыша,  
В глазах больных детей, в огнях зарниц сияет.

Душа моя и Ты – с Тобою мы одни,  
И смертною тоской и ужасом объятый,  
Как некогда с креста Твой Первенец Распятый,  
Мир вопиет: ламма! ламма! Савахфани. [1]

Душа моя и Ты – с Тобой одни мы оба,  
Всегда лицом к лицу, о, мой последний Враг.

К Тебе мой каждый вздох, к Тебе мой каждый шаг  
В мгновенном блеске дня и в вечной тайне гроба.

И в буйном ропоте Тебя за жизнь кляня,  
Я все же знаю: Ты и Я – одно и то же,  
И вопию к Тебе, как сын твой: Боже, Боже,  
За что оставил Ты меня?

Между 1895 и 1899

#### ДЕТСКОЕ СЕРДЦЕ

Я помню, как в детстве нежданную сладость  
Я в горечи слез находил иногда,  
И странную негу, и новую радость –  
В мученье последних обид и стыда.

В постели я плакал, припав к изголовью;  
И было прощеньем сердце полно,  
Но все ж не людей, – бесконечной любовью  
Я Бога любил и себя, как одно.

И словно незримый слетал утешитель,  
И с ласкою тихой склонялся ко мне;  
Не знал я, то мать или ангел-хранитель,  
Ему я, как ей, улыбался во сне.

В последней обиде, в предсмертной пустыне,  
Когда и в тебе изменяет мне всё,  
Не ту же ли сладость находит и ныне  
Покорное, детское сердце мое?

Безумье иль мудрость, – не знаю, но чаще,  
Все чаще той сладостью сердце полно,  
И так, – что чем сердцу больнее, тем слаще,  
И Бога люблю и себя, как одно.

16 августа 1900

#### ТРУБНЫЙ ГЛАС

Под землю слышен ропот,  
Тихий шелест, шорох, шепот.

Слышен в небе трубный глас:

– Брат, вставай же, будят нас.

– Нет, темно еще повсюду,

Спать хочу и спать я буду,

Не мешай же мне, молчи,

В стену гроба не стучи.

– Не заснешь теперь, уж поздно.

Зов раздался слишком грозно,

И встают вблизи, вдали,

Из разверзшейся земли,

Как из матерней утробы,

Мертвецы, покинув гробы.

– Не могу и не хочу,

Я закрыл глаза, молчу,

Не поверю я обману,

Я не встану, я не встану.

Брат, мне стыдно – весь я пыль,

Пыль и тлен, и смрад, и гниль.

– Брат, мы Бога не обманем,

Все проснемся, все мы встанем,

Все пойдем на Страшный суд.

Вот престол уже несут.

Херувимы, серафимы.

Вот наш царь дориносимый. [2]

О, вставай же, – рад не рад,

Все равно ты встанешь, брат.

27 мая 1901

МОЛИТВА О КРЫЛЬЯХ

Ниц простертые, унылые,

Безнадежные, бескрылые,

В покаянии, в слезах, –

Мы лежим во прахе прах,

Мы не смеем, не желаем,

И не верим, и не знаем,

И не любим ничего.

Боже, дай нам избавленья,  
дай свободы и стремленья,  
дай веселья Твоего.  
О, спаси нас от бессилья,  
дай нам крылья, дай нам крылья,  
Крылья духа Твоего!

<1902>

ВЕСЕЛЫЕ ДУМЫ

Без веры давно, без надежд, без любви,  
О странно веселые думы мои!

Во мраке и сырости старых садов –  
Унылая яркость последних цветов.

1900

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Глядим, глядим все в ту же сторону,  
За мшистый дол, за топкий лес,  
Вослед прокаркавшему ворону,  
На край темнеющих небес.

Давно ли ты, громада косная  
В освобождающей войне,  
Как Божья туча громоносная,  
Вставала в буре и в огне?

О, Русь! И вот опять закована,  
и безглагольна, и пуста,  
Какой ты чарой зачарована,  
каким проклятьем проклята?

А все ж тоска неодолимая  
К тебе влечет: прими, прости.  
Не ты ль одна у нас, родимая,  
Нам больше некуда идти.

Так, во грехе тобой зачатые,  
должны с тобою погибать

Мы, дети, матерью проклятые  
И проклинаящие мать.

28/15 сентября 1909

Веймар

СТАРИННЫЕ ОКТАВЫ Octaves du passe

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

I

Хотел бы я начать без предисловья,  
Но критики на поле брани ждут,  
Как вороны, добычи для злословья,  
Слетаются на каждый новый труд  
И каркают. Пошли им Бог здоровья.  
Я их люблю, хотя в их толк и суд  
Не верю: все им только брани повод...  
Пусть вьется над Пегасом жадный овод.

II

Обол – Харону:[3] сразу дань плачу  
Врагам моим. В отваге безрассудной  
Писать роман октавами хочу.  
От стройности, от музыки их чудной  
Я без ума; поэму заключаю  
В стесненные границы меры трудной.  
Попробуем, – хоть вольный наш язык  
К тройным цепям октавы не привык.

III

Чем цель трудней – тем больше нам отрады:  
Коль женщина сама желает пасть,  
Победе слишком легкой мы не рады.  
Зато над сердцем непокорным власть,  
Сопротивленья, холод и преграды  
Рождают в нас мучительную страсть:  
Так не для всех доступна, величава,  
Подобно гордой женщине, – октава.

IV

Уж я давно мечтал о ней: резец

Ваятеля пленяет мрамор твердый.  
Поборемся же с рифмой, наконец,  
Чтоб победить язык простой и гордый.  
Твою печаль баюкают, певец,  
Тройных созвучий полные аккорды,  
И мысль они, как волны, вдаль несут,  
Одна другой, звуча, передают.

V

Но чтобы труд был легок и приятен,  
Я должен знать, что есть в толпе людей  
Душа, которой близок и понятен  
Я с Музой отвергнутой моей.  
Да будет же союз наш благодатен,  
Читатель мой: для двух иль трех друзей  
Бесхитростный дневник пишу, не повесть.  
Зову на суд я жизнь мою и совесть.

VI

И не боюсь оружие дать врагу:  
Не все ли мы у смерти, – у преддверья  
Верховного Суда? – я не солгу,  
В словах моих не будет лицемерья:  
Что видел я, что знаю, как могу,  
Без гордости, стыда иль недоверья,  
Тому, кто хочет слышать, расскажу, –  
Живым – живое сердце обнажу.

VII

Тревоги страстной, бурной и весенней  
Я не люблю: душа моя полна  
И ясностью, и тишиной осенней...  
И, вечная, святая тишина:  
Час от часу светлей и вдохновенней  
Мне прошлой темной жизни глубина:  
Там, в сумерках, горит воспоминанье,  
Как тихое, вечернее сиянье.

VIII

ский д. Из Собрания стихов (1904), Собрания стихов (1910) и Полного собрания сочинений (1912) fil

От шума дня, от клеветы людской,

От глупых ссор полемики журнальной

Я уношусь к младенчеству душой –

Туда, туда, к заре первоначальной.

Уж кроткая Богиня надо мной

Поникла вновь с улыбкою печальной,

И я, как в небо, в очи ей смотрю,

О чистых днях, о детстве говорю.

IX

От Невского с его толпою чинной

Я ухожу к Неве, прозрачным льдом

Окованной: люблю гранит пустынный

И Летний сад в безмолвии ночном.

Мне памятен печальный и старинный,

Там, рядом с мостом, двухэтажный дом:

Во дни Петра вельможею построен,

Он – неуклюж, и мрачен, и спокоен.

X

Свидетель грустный юных лет моих,

Вдали от жизни, суеты и грома

Столичного, по-прежнему он тих.

Там сердцу мелочь каждая знакома:

Узор обоев в комнатах больших,

Подъезд стеклянный, двор и окна дома.

Не радостный, но милый мне уют,

Где бледные видения встают.

XI

Забывшие молитвы, сказки няни

С улыбкою твержу я наизусть,

Родные лица вижу, как в тумане...

Там, в детстве счастья было мало, – пусть!

Как сумрак лунный, даль воспоминаний

В поэзию, в пленительную грусть

Все обращает – радость и мученье:

В душе моей – великое прощенье.

XII



Чиновником усердным был отец,  
В делах, в бумагах канцелярских меру  
Земных трудов свершил и наконец,  
Чрез все ступени, трудную карьеру  
Пройдя, упорной воли образец,  
Был опытен, знал жизнь, людей и веру,  
Ничем не сокрушимую, питал  
В практический суровый идеал.

### XIII

Любил семью, – для нас он жил на свете;  
Был сердцем добр, но деловит и строг.  
Когда порой к нему являлись дети,  
Он с ними быть как с равными не мог.  
Я помню дым сигары в кабинете,  
Прикосновенье желтых бритых щек,  
Холодный поцелуй, – вся нежность наша –  
В словах «bonjour» иль «bonne nuit,[4] папаша».

### XIV

И скукою томительной царил  
В семье казенный дух, порядок вечный.  
Он все копил, он все для нас копил,  
Но наших игр и болтовни беспечной,  
И хохота, и шума не любил,  
Подозревая в нежности сердечной  
лишь баловства избыток иль причуд,  
Смотря на жизнь, как на печальный труд.

### XV

Не тратилось на нас копейки лишней.  
Коль дети мимо кабинета шли,  
Как можно незаметней и неслышной  
Старались проскользнуть; от всех вдали,  
Хранимые лишь волею Всевышней,  
Мы в куче десять человек росли,  
Покинутые немке и природе,  
Как овощи в забытом огороде.

Володя, Саша, Надя... без конца, –  
И в этом мертвом доме мы друг друга  
Любили мало; чтоб звонком отца  
Не потревожить, так же как прислуга,  
Мы приходили с черного крыльца.  
А между тем, не ведая досуга,  
Здоровья не щадя, отец служил  
И все копил, он все для нас копил.

XVII

Под бременем запасов гнулись полки  
В березовых шкапах – меха, фарфор,  
Белье, игрушки, лакомства для елки.  
Зайдешь, бывало, в пыльный коридор,  
Во внутренность шкапов глядишь сквозь щелки,  
И то, чего не видишь, манит взор,  
И чувствуешь в восторге молчаливом,  
То миндалем пахнет, то черносливом.

XVIII

Я с ключницей всегда ходить был рад  
В таинственный подвал, где кладовая.  
Здесь тоже длинные шкапы стоят;  
На мрачных сводах – плесень вековая,  
Мешков с картофелем и банок ряд...  
Трещит тихонько свечка, догорая,  
И мышь из-под огромного куля  
На нас глядит, усами шевеля.

XIX

И только раз в году на именинах  
Вся роскошь вдруг являлась на столе.  
Сидели дамы в пышных кринолинах  
И старички – ряд лиц, как в полумгле  
На старомодных, выцветших картинах...  
И в мараскинном трепетном желе  
Свеча, приятным пламенем краснея,  
Мерцала – тонких поваров затея.

XX

Но важный вид гостей пугал меня..  
Холодных блюд – остатков именной  
Трапезы нам хватало на три дня.  
Все приходило вновь в порядок чинный:  
Сестра сидела, скучный вид храня,  
С учительницей музыки в гостиной, –  
Навстречу ранним пасмурным лучам  
Был слышен звук однообразных гамм.

XXI

Унылый знак привычек экономных, –  
Торжественная мебель – вся в чехлах.  
Но чудилась мне тайна в нишах темных,  
В двух гипсовых амурах, в зеркалах,  
В чуланах низких, в комнатах огромных, –  
Все навевало непонятный страх;  
И скучную казенную квартиру  
Уподоблял я сказочному миру.

XXII

Мне жития угодников святых  
Рассказывала няня, как с бесами  
Они боролись в пустынях глухих.  
Почтенная старушка в бедном хламе  
Меж душегреек в сундуках своих  
Хранила четки, ладонку с мощами  
И крестика Афонского янтарь.  
Я узнавал, как люди жили встарь;

XXIII

Как некое заклятие трикраты  
Монах над черным камнем произнес  
И в воздухе рассыпался проклятый,  
Подобно стае воронов, утес;  
Я слушал няню, трепетом объятый  
И любопытством, полный чудных грез,  
От ужаса я «Отче наш» в кроватке

XXIV

Познал я негу безотчетных грез,  
Познал я грусть, – чуть вышел из пеленок.  
Рождало все мучительный вопрос  
В душе моей; запуганный ребенок,  
Всегда один, в холодном доме рос  
я без любви, угрюмый, как волчонок,  
Боясь лица и голоса людей,  
дичился братьев, бегал от гостей

XXV

И ждал чудес в тревоге непрестанной:  
Порой не мог заснуть и весь дрожал,  
Все кто-то длинный, длинный и туманный,  
Чернее мрака в комнате стоял...  
Мне ужас веял в душу несказанный,  
И громко звал я няню и кричал.  
И старшие, вокруг моей постели,  
То на меня сердились, то жалели.

XXVI

И лакомств мне давала мать, отец  
Шутил; его насмешливые речи  
я слушал молча, бледный, как мертвец.  
И приносили в спальню лампы, свечи:  
«Вон там, в углу... смотрите!..» – Наконец  
Он исчезал; но жду я новой встречи  
С Неведомым и знаю, что опять  
Его пред смертью должен увидеть.

XXVII

С тех пор доньне в бурях и в покое,  
Бегу ли я в толпу или под сень  
дубрав пустынных, – чую роковое  
Всегда, везде, – и в самый светлый день.  
То древнее, безумное, ночное  
Присутствует в душе моей, как тень,  
Как ужаса непобедимый трепет,

Как вещей Парки неотвязный лепет.

XXVIII

Но, на прогулку с нянею спеша,  
В знакомой лавке у Цепного моста  
Я покупал себе на два гроша  
Коврижки белой, твердой, как береста,  
И, утреннюю свежестью дыша,  
Опять на мир смотрел легко и просто;  
И для меня был счастья венец  
Малиновый прозрачный леденец.

XXIX

В суровом доме, мрачном, как могила,  
Во мне лишь ты, родимая, спасла  
Живую душу, и святая сила  
Твоей любви от холода и зла,  
От гибели ребенка защитила;  
Ты ангелом-хранителем была,  
Многострадальной нежностью твоею  
Мне все дано, что в жизни я имею.

XXX

Отец сердился, вредным баловством  
Считал любовь; бывало, ты украдкой  
Меня спешила осенить крестом,  
Склонясь в лампадном свете над кроваткой,  
И засыпал я безмятежным сном  
При шепоте твоей молитвы сладкой,  
Но чувствовал сквозь поцелуй любви  
Я жалобы безмолвные твои.

XXXI

Однажды денег взяв Бог весть откуда,  
Она тайком осмелилась купить  
Игрушку мне, чудесного верблюда;  
Отец увидел, стал ее бранить.  
Внутри была бисквитов сладких груда:  
И жадности не мог я победить, –

ский д. из Собрания стихов (1904), Собрания стихов (1910) и Полного собрания сочинений (1912) fil

За мать страдая, молча, – как убитый, –

я с горькими слезами ел бисквиты.

XXXII

Когда на службе был отец с утра,  
Мать в кабинет за стол меня пускала.

Я помню дел казенных номера,  
Сургуч, портрет старинный генерала,  
Из хризолита ручку для пера,  
Из камня цвета млечного опала  
Коробочку для марок, нож, бювар,  
Карандаши и ящик для сигар:

XXXIII

Предметы жадных, робких наслаждений!..

Но как-то раз я рукавом свалил

Чернильницу с головкою оленьей:

Ни жив ни мертв, смотрю, как потопил  
(что мне казалось верхом преступлений)

Зеленое сукно поток чернил.

Вдруг – голоса, шаги отца в передней;

Вот, думаю, пришел мой час последний.

XXXIV

Я убежал, чтоб грозного лица

Не увидеть; и начались упреки,

Неумолимый гневный крик отца,

На трату денег вечные намеки,

И оправданья мамы без конца.

Я понимал, что грубы и жестоки

Его слова, и слышал я мольбы,

Усилия беспомощной борьбы..

XXXV

В них – долгих лет покорная усталость –

Хотя бы мог я розог ожидать, –

Лишь простоял в углу за эту шалость:

Спасла меня заступничеством мать.

Я чувствовал мучительную жалость,

Семейных драм не в силах угадать, –

За маму, тихий и покорный с виду,  
Я затаил в душе моей обиду.

XXXVI

И с нею вместе я жалел себя:  
Под одеялом спрятавшись в кровати,  
Молился я, родная, за тебя,  
Твой поцелуй в бреду и лихорадке,  
Твое дыханье чувствовал, любя:  
Так жгучие те слезы были сладки,  
Что, все прощая, думал об отце  
Я с радостной улыбкой на лице.

XXXVII

Он не чины, не ордена, не ленты  
Наградю трудов своих считал:  
В невидимо растущие проценты,  
В незыблемый и вечный капитал,  
В святыню денежных бумаг и ренты,  
Как в добродетель, веру он питал,  
Хотя и не был скуп, но слишком долго  
Для денег портил жизнь из чувства долга.

XXXVIII

Чиновник с детства до седых волос,  
Житейский ум, суровый и негибкий,  
Не думая о счастье, молча нес  
Он бремя скучной жизни без улыбки,  
Без малодушья, ропота и слез,  
Не ведая ни страсти, ни ошибки.  
И добродетельная жизнь была –  
Как в серых мутных окнах – дождь и мгла.

XXXIX

Кругом в семье царила безмятежность:  
Детей обилье – Божья благодать, –  
Приличная супружеская нежность.  
За нас отец готов был жизнь отдать...  
Но, вечных мук предвидя неизбежность,

ский д. Из Собрания стихов (1904), Собрания стихов (1910) и Полного собрания сочинений (1912) fil

Уже давно им покорилась мать:

В хозяйстве, в кухне, в детской мелочами

Ее он мучил целыми годами.

XL

Без горечи не проходило дня.

Но с мужеством отчаянья, ревниво,

Последний в жизни уголок храня,

То хитростью, то лаской боязливой,

Она с отцом боролась за меня.

Он уступал с враждою молчаливой,

Но дружба наша крепла, и вдвоем

Мы жили в тихом уголке своем.

XLI

С ним долгий путь она прошла недаром:

Я помню мамы вечную мигрень,

В лице уже больном, хотя не старом,

Унылую, страдальческую тень...

Я целовал ей руки с детским жаром, –

Духи я помню, – белую сирень...

И пальцы были тонким цветом кожи

На руки девственных Мадонн похожи...

XLII

О, только бы опять увидеть вас

И после долгих, долгих дней разлуки

Поцеловать еще единый раз,

Давно в могиле сложенные руки!

Когда придет и мой последний час, –

Ужели там, где нет ни зла, ни муки, –

Ужель напрасно я, горя, жду, –

Что к вам опять устами припаду?

XLIII

Отец по службе ездил за границу,

На попеченье старой немки дом

С детьми покинув; и старушка в Ниццу

Писала аккуратно обо всем.

Порой от мамы нежную страницу



С отцовским кратким деловым письмом  
И с ящиком конфет мы получали,  
И забывал я о моей печали.

XLIV

Бывало, с горстью лакомых конфет,  
С растрепанным арабских сказок томом  
Садился я туда, где ярче свет  
Знакомой лампы на столе знакомом,  
И большего, казалось, счастья нет,  
Чем шоколад с благоуханным ромом.  
Был сумерек уютный тихий час;  
В стекле шумел голубоватый газ.

XLV

Я до сих пор люблю, Шехеразада,  
Твоих султанов, евнухов и жен,  
Скитаньями волшебными Синдбада  
И лампой Алладиновой пленен.  
Порой – увы! – среди чудес Багдада  
Я, лакомством и книгой увлечен,  
Мать забывал, как забывают дети, –  
Как будто не было ее на свете,

XLVI

И только в горе вспоминал опять.  
Из Ревеля почтенная старушка  
Умела так хозяйством управлять,  
Чтоб лишняя не тратилась полушка:  
Случится ль детям что-нибудь сломать,  
В буфете ль чая пропадет осьмушка, –  
Она весь дом бранила без конца,  
Предвидя строгий выговор отца.

XLVII

Я помню туфли, темные капоты,  
Седые букли, круглые очки,  
Чепец, морщины, полные заботы,  
И ночью трепет старческой руки,

ский д. Из Собрания стихов (1904), Собрания стихов (1910) и Полного собрания сочинений (1912) fil  
Когда она записывала счета

И все твердила: «Рубль за башмаки...  
Картофель десять, масло три копейки...»  
И цифру к цифре ставила в линейки.

XLVIII

Старушки тень я видел на стене  
Огромную, поднять не смея взгляда:  
И магией порой казались мне  
Все эти банки, шпильки и помада,  
Щипцы на свечке в трепетном огне, –  
От них знакомый едкий запах чада:  
Она седую жиденькую прядь  
Привыкла на ночь в букли завивать.

XLIX

До старости была она кокеткой:  
И, сморщившись давно и пожелтев, –  
Хотя у нас бывали гости редко, –  
С лукавством трогательным старых дев  
Шиньон свой древний, с новой черной сеткой,  
На голову дрожащую надев,  
Еще пришиллит красненькую ленту,  
И как бедняжка рада комплименту!

L

Душа моя печальна и светла,  
И жалко мне моей старушки дряхлой.  
Священна жизнь, хотя бы то была  
Невидимая жизнь былинки чахлой.  
Мы любим, славя громкие дела,  
Чтоб от людей великих кровью пахло, –  
Но подвиг есть и в серых скучных днях,  
В невидимых презренных мелочах.

LI

Старушки взгляд всегда был жив и зорок:  
К нам девушкой молоденькой вошла  
И поседела, сгорбилась, лет сорок  
С детьми возилась, жизнь им отдала.

Ей каждый грош чужой был свят и дорог...

Амалии Христьяновне – хвала:

Она свершила подвиг без награды,  
как мало в жизни было ей отрады!

LII

Как много скуки, горестных минут,  
людских обид, и холода, и злости!

И вот она забыта, и гниют

в неведомой могиле на погосте,

Найдя последний отдых и приют,

Измученные старческие кости...

Как по земле – теней людских тьмы тем, –

И ты пришла, – Бог весть куда, зачем...

LIII

Увы, что значит эта жизнь? Над нею,

как над загадкой темною, стою,

мучительный, чем над судьбой твоею,

Герой бессмертный, – душу предаю

вопросам горьким, отвечать не смею...

Неведомых героев я пою.

Простых людей, о, Муза, помоги мне

восславить миру в сладкозвучном гимне.

LIV

да будут же стихи мои полны

гармонией спокойной и унылой.

ничтожество могильной тишины

мгновенный шум великих дел покрыло:

последний будет первым, – все равны.

как то поют, что в древнем Риме было, –

в торжественных октавах я пою

Амалию Христьяновну мою.

LV

Старушка Эмма у нее гостила

в очках и тоже в буклях, как сестра.

я помню всех, кого взяла могила,

ский д. Из Собрания стихов (1904), Собрания стихов (1910) и Полного собрания сочинений (1912) файла

Как будто видел лица их вчера.

Амалия Христьяновна любила,  
С ней наслаждаясь кофеем с утра  
И ревельскими кильками в жестянках, –  
Посплетничать о кухне и служанках.

LVI

Был муж ее предобрый старичок  
В ермолке, с трубкой; кофту, вместо шубы,  
Он надевал и длинный сюртучок,  
С улыбкой детской морщил рот беззубый.  
Пусть мелочи ненужных этих строк  
Осудит век наш деловой и грубый, –  
Но я люблю на прозе давних лет  
Поэзии вечерний полусвет...

LVII

На Островах мы лето проводили:  
Вокруг дворца я помню древний сад,  
Куда гулять мы с нянею ходили, –  
Оранжереи, клумбы и фасад  
Дух флигелей в казенном важном стиле,  
Дорических колонн высокий ряд,  
Террасу, двор и палисадник тощий,  
И жидкие елагинские рощи.

LVIII

Там детскую почувствовал любовь  
Я к нашей бедной северной природе.  
Я с прошлогодней ласточкою вновь  
Здоровался и бегал на свободе,  
И с радостным волнением морковь  
И огурцы сажал на огороде,  
Ходил с тяжелой лейкою на пруд:  
Блаженством новым мне казался труд.

LIX

В двух грядках все работы земледелья  
Я находил, про целый мир забыв...  
О, где же ты, безумного веселья

Давно уже неведомый порыв,  
И суета, и хохот новоселья.  
«Milch trinken, Kinder!», [5] – форточку открыв,  
За шалость детям погрозив сначала,  
Амалия Христьяновна кричала.

LX

И ласточек, летевших через двор,  
Был вешний крик пронзителен и молод...  
Я помню первый чай на даче, сор  
Раскупоренных ящиков и холод  
Сквозного ветра, длинный коридор  
И после игр счастливый, детский голод,  
И теплый хлеб с холодным молоком  
В зеленых чашках с тонким ободком –

LXI

Позолоченным: их любили дети, –  
Особенная прелесть в них была.  
В сосновом, пахнущем смолой, буфете  
Стоял сервиз для дачного стола.  
С тех пор забыл я многое на свете –  
Любовь, обиды, важные дела,  
Но, кажется, до смерти помнить буду  
Ту милую зеленую посуду.

LXII

И связан с ней был чудный летний сон,  
Всегда один и тот же, мимолетней,  
Чем облачные тени, озарен  
Таинственным лучом, – и беззаботней  
Я ничего не знаю: дальний звон,  
Как будто тихий благовест субботний...  
Большая комната, – где солнца нет,  
Но внутренний прозрачно-мягкий свет...

LXIII

Гляжу на свет, не удивляясь чуду,  
И не могу насытить жадный взор...

ский д. Из Собрания стихов (1904), Собрания стихов (1910) и Полного собрания сочинений (1912) fil

На длинных полках вижу я посуду, –

Пронизанный сиянием фарфор,

И золотой, и разноцветный, всюду –

На чашках белых тоненьких – узор..

Я – как в раю, – такая в сердце сладость

И чистота, и неземная радость.

LXIV

Той радостью душа еще полна,

Когда проснусь, бывало: я беспечен

И тих весь день под обаяньем сна.

Хотя для сердца памятен и вечен,

Как молодость, как первая весна, –

О, милый сон, ты был недолговечен

И в темные порочные года

Уже не повторялся никогда.

LXV

Я полюбил Эмара, Жюля Верна,

И Робинзон в те дни был мой кумир.

Я темными колодцами – безмерна

Их глубина – сходил в подземный мир,

И быстрота была неимоверна,

Когда помчался в бомбе чрез эфир

Я на луну; мечтой любимой стали

Мне корабли подводные из стали.

LXVI

Я находил в елагинских полях

Пустынные и дикие Пампасы;

Блуждал – в приюте воробьев – в кустах

Черемухи, как Немо, Гаттерасы

Иль Робинзоны в девственных лесах.

Я ждал порой меж тощих пальм террасы

Среди безумных и блаженных игр,

Что промелькнет гиппопотам иль тигр.

LXVII

Я не забуду в темном переплете

Разорванных библиотечных книг.

Фантазия в младенческом полете

Не ведала покоя ни на миг:

Я жил в волненье вечном и заботе, –

Мне в каждой яме чудился тайник

И ход подземный в глубине сарая.

Как я мечтал, дрожа и замирая,

LXVIII

Как жаждал я открытья новых стран!

Готов принять был дачников семейных

За краснокожих, пруд – за океан,

И часто, полный грез благоговейных,

Заглядывал в таинственный чулан

С осколками горшков оранжерейных,

И, на чердак зайдя иль сеновал,

Америку, казалось, открывал.

LXIX

Я с братьями ходить любил по крыше,

Чтоб сапогами не греметь, – в чулках.

Я в ужасе просил их: «Тише, тише, –

Амалия Христьяновна!..» В ушах

Был ветра свист, и мне хотелось выше.

У спутников на лицах видел страх, –

Но сам душою, страху недоступной,

Я наслаждался волею преступной.

LXX

За погребом был гладкий, как стекло,

И сонный пруд; на нем плескались утки;

Плакучей ивы старое дупло,

Где свесились корнями незабудки,

Потопленное, мохом обросло;

Играют в тине желтые малютки –

Семья утят, и чертит легкий круг

По влаге быстрый водяной паук.

LXXI

Я с книгой так садился меж ветвями,

Чтоб за спиной конюшни были, дом

И клумбы, мне противные, с цветами,

И, видя только чащу ив кругом

И дремлющую воду под ногами,

Воображал себя в лесу глухом:

Так страстно мне хотелось, чтобы диким

Был Божий мир, пустынным и великим.

LXXII

И, каждой смелой веткой дорожа,

Я возмущался, что по глупой моде

Акации стригут или, служа

Казенному обычаю в природе, –

Метут в лесу тропинки сторожа.

Стремясь туда, где нет людей, к свободе, –

Прибив доску меж двух ветвей к сосне,

Я гнездышко устроил в вышине.

LXXIII

И каждый день взлезал к нему, как белка.

За длинною просекою вдали

Виднелася Елагинская Стрелка,

На бледном тихом взморье корабли;

Нева желтела там, где было мелко...

Как по дорожкам дачники ползли,

Я наблюдал с презреньем, горд и весел,

И голый сук казался мягче кресел.

LXXIV

Идет лакей придворный по пятам

Седой и чинной фрейлины-старушки...

Здесь модные духи приезжих дам –

И запах первых листьев на опушке,

И разговор французский – пополам

С таинственным пророчеством кукушки,

И смешанное с дымом папирос

Вечернее дыханье бледных роз...

LXXV

В оранжереи, к плотничьей артели



Я уходил: там острая пила  
Визжала, стружки белые летели,  
И с дерева янтарная смола,  
Как будто кровь из раны в нежном теле,  
Сияющими каплями текла;

Мне нравился их ярославский говор,  
Когда шутил с работниками повар,

LXXVI

Спеша на ледник с блюдом через двор;  
И брал от них рукою неискусной  
Я долото, рубанок иль топор,  
Из котелка любил я запах вкусный,  
И щи, и ложек липовых узор;

При звуке песни их живой и грустной  
Кого-то вдруг мне становилось жаль:  
Я сердцем чуял русскую печаль...

LXXVII

Мы под дворцом Елагинским в подвале  
Однажды дверь открытую нашли:  
Мышей летучих тени ужасали,  
Когда мы в темный коридор вошли;  
Казалось нам, что лабиринт едва ли  
Ведет не к сердцу матери-земли.  
Затрепетав, упал от спички серной  
На плесень влажных сводов луч неверный.

LXXVIII

Не долетает шум дневной сюда;  
Столетним мохом кирпичи покрыты,  
Сочится с низких потолков вода;  
Сквозь щель, сияньем голубым облиты,  
Роняя на пол слезы иногда,  
Неровные белеют сталактиты  
В могильном сне... Как солнцу я был рад,  
Из глубины подземной выйдя в сад.

LXXIX

ский д. Из собрания стихов (1904), Собрания стихов (1910) и полного собрания сочинений (1912) файл

Вдыхая запах влажный и тяжелый

Медовых трав, через гнилой забор  
Перескочив, отважный и веселый,  
В кустах малины крадусь я, как вор;  
Над парником с жужжаньем вьются пчелы,  
И как рубин, висит, чаруя взор,  
Под свежими пахучими листьями  
Смородина прозрачными кистями.

LXXX

С младенчества людей пленяет грех:  
Я с жадностью незрелый ем крыжовник,  
Затем что плод запретный слаще всех  
Плодов земных; царапает шиповник  
Лицо мое, и, возбуждая смех  
Напрасно пугало твое, садовник,  
Как символ добродетели, стоит,  
Храня торжественный и глупый вид.

LXXXI

Елагин пуст, – вдали умолк коляски  
Последний гул, и белой ночи свет  
Там, над заливом, полон тихой ласки,  
Как неземной таинственный привет, –  
Все мягкие болезненные краски..  
Далекой тони черной силуэт,  
Кой-где меж дач овес и тощий клевер..  
Тебя я помню, бедный милый Север!

LXXXII

Когда сквозь дым полуденных лучей  
С утесов Капри вижу даль морскую,  
О сумраке березовых аллей  
Я с нежностью задумчивой тоскую:  
Люблю унынье северных полей  
И бледную природу городскую,  
И сосен тень, и с милой кашкой луг,  
Люблю тебя, Елагин, старый друг.

LXXXIII

Но скоро дни забот пришли на смену  
Веселым дням, и в мрачный старый дом  
Вернулся вновь я к духоте и плену.  
И в комнате перед моим окном  
Неумолимую глухую стену  
Доныне помню: вид ее знаком  
До самых мелких трещинок и пятен,  
Казенный желтый цвет был неприятен.

LXXXIV

Разносчицы вдали я слышать мог  
Певучий голос: «Ягода морошка».  
Небес едва был виден уголок  
Над крышами, где пробиралась кошка  
И трубочист; со сливками горшок  
Кухарка ставит в ящик за окошко;  
И как воркует пара голубей,  
Я слышу в тихой комнате моей.

LXXXV

Когда же Летний сад увидел снова,  
Я оценил свободу летних дней.  
С презрением, не говоря ни слова,  
Со злобою смотрел я на детей,  
Играющих у дедушки-Крылова,  
И, всем чужой, один в толпе людей,  
Старался няню, гордый и пугливый,  
Я увести к аллее молчаливой.

LXXXVI

В сквозной тени трепещущих берез  
На мраморную нимфу или фавна  
Смотрел я, полный нелюдимых грез;  
И статуя Тиберия[6] забавна, –  
Меня смешил его отбитый нос,  
Замазкою приклеенный недавно.  
Сентябрь дубы и клены позлащал,  
Крик ворона ненастье предвещал...

Стучится дождь однообразно в стекла.

К экзаменам готовлюсь я давно,

Зевая, год рожденья Фемистокла[7]

Твержу уныло и смотрю в окно:

В грязи шагая, охтинка промокла...

И сердце скукой мертвою полно.

Решить не в силах трудную задачу,

Над грифельной доской едва не плачу.

LXXXVIII

Но вот пришел великий грозный час:

Вступая в храм классической науки,

Чтобы держать экзамен в первый класс, –

Я полон дикой робости и муки.

Смотрю в тетрадь, не подымая глаз,

Лицо в чернилах у меня и руки,

И под диктовку в слове «осенять»

Не знаю, что поставить – е иль ъ.

LXXXIX

Я помню место на второй скамейке,

Под картою Австралии, для книг

Мой пыльный ящик, карандаш, линейки,

Казенной формы узкий воротник,

Мучительный для детской тонкой шейки.

Спряжение глаголов я постиг

С большим трудом; и вот я – в новом мире,

Где божество – директор в вицмундире.

ХС

От слез дрожал неверный голосок,

Когда твердил я: *lupus... conspicavit...*

*In rupe pascebatur...*[8] и не мог

Припомнить дальше; единицу ставит

Мне золотушный немец-педагог.

Томительная скука сердце давит:

Потратили мы чуть не целый год,

Чтобы понять отличие *quid* и *quod*;<sup>[9]</sup>

ХСІ

А говорить по-русски не умели.

И, в сокровенный смысл частицы ut [10]

Стараясь вникнуть, с каждым днем глупели.

Гимнастика ума – полезный труд,  
Направленный к одной великой цели:

Нам выправку казенную дадут  
Для русского, чиновничьего строя,  
Бумаг, служебных дел и геморроя.

ХСІІ

Так укрощали в молодых сердцах  
Вольнолюбивых мыслей дух зловредный;  
Теперь уже о девственных лесах,  
О странствиях далеких мальчик бедный  
Не помышлял: потухла жизнь в очах.  
В мундир затянут, худенький и бледный,  
По петербургской слякоти пешком  
Я возвращался в наш холодный дом.

ХСІІІ

Манить ребенка воля перестала:  
Царил над нами дух военных рот.  
Как в тонких стенках твоего кристалла,  
Гомункул, умный маленький урод,  
Душа без жизни в детях жить устала...  
Болезненный и худосочный род –  
К молчанию, к терпенью предназначен,  
Чуть не с пеленок деловит и мрачен.

ХСІV

В тот час, как темной грифельной доски  
И словарей коснулся луч последний  
Туманного заката, и тоски  
Напев был полон в комнате соседней  
Старухи няни, штопавшей чулки, –  
Далекий шум послышался в передней...  
Мне было скучно, и на груды книг

Я головой усталую поник...

ХСV

Вдруг голос мамы, шорох платья милый,  
Ее шагов знакомый легкий звук...  
Я побледнел и алгебры постылой  
Учебник на пол выронил из рук.  
Не от любви с неудержимой силой  
Забилось сердце, – это был испуг:  
Я в классицизме, в мертвом книжном хламе  
Так одичал, что позабыл о маме

ХСVІ

За год разлуки: как угрюмый зверь,  
Со злобою смотрел на злые лица  
Учителей; казалась теперь  
Мне падежей неправильных таблица  
Важней любви... От матери за дверь  
Я спрятался; как пойманная птица,  
Дрожал в углу, безмолвие храня, –  
И вдруг она увидела меня...

ХСVІІ

Но я уж сам к ней бросился в объятья,  
Про все забыв, – сестер не слышал крик  
И не видал, как прибежали братья,  
Закрыв глаза, к ее груди приник,  
Вдыхая тонкий, нежный запах платья...  
То был блаженства незабвенный миг.  
Она меня ласкала: «Мальчик бедный,  
Какой ты худенький, какой ты бледный!»

ХСVІІІ

Под взорами возлюбленных очей  
Я воскресал от холода и скуки,  
От этих долгих безнадежных дней;  
Пугливый, все еще боясь разлуки,  
Не веря счастью, прижимался к ней:  
Она глаза мне целовала, руки  
И волосы, и согревала вновь

Меня, как солнце, вечная любовь.

ХСІХ

И, улыбаясь, плакали мы оба,  
И все, в чем сердце бедное могло  
Окаменеть – ожесточенье, злоба  
И мертвенная скука – все прошло:  
Так не боится зимнего сугроба,  
Почуяв жизни первое тепло,  
Когда ручей поет и блещет звонкий, –  
На трепетном стебле подснежник тонкий.

С

Не мог расторгнуть наших вольных уз  
Дух строгости, порядок жизни чинный,  
И тайно креп наш дружеский союз:  
Ловил я звук шагов ее в гостиной;  
Бывало, рода женского на us  
Она со мной твердила список длинный,  
И находил поэзию при ней  
Я в правилах кубических корней.

СІ

Под сладостной защитой и покровом,  
Когда ласкался к маме при отце,  
Я видел ревность на его суровом  
Завистливо нахмуренном лице.  
Я был пленен улыбкой, каждым словом,  
И бриллиантом на ее кольце,  
И шелестом одежды, и духами,  
И девственными, юными руками.

СІІ

На завтрак белый рябчика кусок,  
Обсахаренный вкусный померанец,  
Любимую конфету, пирожок  
Она тихонько прятала мне в ранец;  
Когда я в классе вынимал платок  
С ее духами, вспыхивал румянец

Любви стыдливой на моих щеках,

Сияла гордость детская в очах.

СIII

Я чувствовал ее очарованье

Среди учебных книг и словарей,

как робкое весны благоуханье

В холодной мгле осенних мрачных дней, –

И по ночам любимых уст дыханье

Над детской кроваткою моей:

Так ласк ее недремлющая сила

Меня теплом и светом окружила.

СIV

Коль в сердце, полном горечи и зла,

Доныне есть поэзия живая, –

Твоя любовь во мне ее зажгла.

Ты слышишь ли меня, о, тень родная?

Пусть не нужна тебе моя хвала,

Но счастлив я, о прошлом вспоминая, –

И вот неведомую песнь мою

Тебе, как эти слезы, отдаю.

CV

Когда стремлюсь я к неземной отчизне,

Слабея, грешный, на земном пути,

Я внемлю тихой нежной укоризне...

Не отвергай меня, молю, прости, –

Как ты дитя свое хранила в жизни,

Так пред Судом Верховным защити,

Отчаяньем и долгою разлукой

измученное сердце убаюкай.

CVI

Слетаешь ты, незримая, ко мне,

Как сладкого покоя дуновенье,

Как дальний звук в полночной тишине...

Я чувствую твое благословенье

И к моему лицу, как бы во сне,

Твоих бесплотных рук прикосновенье...



О, милая, над бездною храня,  
любовью вечною спаси меня!

CVII

У волка есть нора, у птиц жилища, –  
Лишь у тебя, служитель красоты, –  
Нет на земле родного пепелища:  
Один среди холодной пустоты,  
я собираю с тихого кладбища  
вспоминаний бледные цветы,  
И в душу веет запахом могилы  
Сквозь аромат их девственный и милый...

CVIII

Давно привык я будущих скорбей  
Угадывать нелживые приметы;  
Жизнь с каждым днем становится мрачней...  
Ни славою, ни дружбой не согреты,  
Лишь памятью невозвратимых дней  
Питаемся мы, жалкие поэты,  
как собственную лапою медведь,  
Чтоб с голода зимой не умереть.

CIX

Пою, свирель на тихий лад настроя:  
До подвигов нам с Музой дела нет.  
Я говорю, увидев тень героя:  
«Не заслоняй мне солнца вечный свет!»  
От мировых скорбей ищущ покоя  
И ухожу я в прозу давних лет.  
Как Диоген – в циническую бочку...  
Но здесь для рифмы я поставлю точку.

CX

кто б ни был ты, о мой случайный друг, –  
Студент ли в келье сумрачной и дымной,  
Чиновник ли с бумагами вокруг,  
Курсистка, барин ли гостеприимный,  
Питомец ли классических наук, –

Не требую любви твоей взаимной, –

Но мне близка теперь душа твоя,  
Но ты мне друг, ты человек, как я.

СXI

Ты так же горьким опытом наказан...  
Минутной благосклонности твоей  
Я самой чистой радостью обязан:  
Ты дальше всех, ты ближе всех друзей,  
И я с тобой свободной дружбой связан.  
Теперь, прощаясь с Музою моею,  
Забудь вражду, прости, читатель, скуку:  
Мы – люди, мы несчастны – дай мне руку!

СXII

Тебе на суд я отдаю себя:  
Один ли ты иль в многолюдном свете,  
Хлопочешь ли для славы жизнь губя  
Или для денег, – вспомни о завете  
Того, кто, детство милое любя,  
Учил нас: «Будьте просты вы, как дети».[11]  
Как ни был бы ты зол и мудр, и стар, –  
Подумай, жизнь – прекрасный Божий дар;

СXIII

Смягчись на миг в борьбе ожесточенной,  
На прошлое с улыбкою взгляни:  
Не правда ли, там, солнцем озаренный,  
Есть уголок родимый, есть они,  
Мой брат, как я, познаьем отягченный,  
Неведенья безоблачные дни!  
От суеты и злобы на минуту  
Вернись душою к тихому приюту, –

СXIV

И пусть морщины скуки и труда  
Разглядятся!.. Как сон недолговечный,  
Те дни прошли... Ты лучше был тогда,  
Доверчивый, свободный и беспечный.  
Ужели больше нет от них следа,

От этих дум, от простоты сердечной?..

О, только бы ты пожалел о них, –

И дела нет мне до врагов моих.

СХV

Пусть хмурит брови Аристарх[12] журнальный:

В печальном сердце – тихо и светло;

Въезжаю в гавань, – кончен путь мой дальний...

О, друг, утешься, подыми чело

С улыбкою спокойной и печальной,

Прощая Богу смерть и людям зло:

В сияньи солнца есть еще отрада...

Ты улыбнулся, – вот моя награда!

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

I

Уже никто не вденет ногу в стремя, –

Ты одряхлел, классический пегас,

Тебе подсекло крылья злое Время:

Влачишься ты по улицам у нас,

Где давит сердце вечной скуки бремя,

Где в мутной снежной тьме чуть брезжит газ,

Где нет ни воли, ни любви, ни солнца, –

Хромую клячей бедного чухонца...

II

От рифмы я отвык, и мне начать

Вторую песнь трудней, чем сдвинуть гору.

Но если час пришел – нельзя молчать:

Слетающих видений внемля хору,

Их голосам я должен отвечать;

И как цветник в полуденную пору –

Жужжаньем пчел, как берег – шумом волн,

Созвучьями недаром слух мой полн.

III

Их музыка подобна поцелую:

И рифма с рифмой – нежная чета –

Сливаются в гармонию живую;

ский д. из Собрания стихов (1904), Собрания стихов (1910) и Полного собрания сочинений (1912) fil  
Так ищут уст влюбленные уста.

я близость бога сладостного чую:  
Когда душа уныла и пуста, –  
Поэзия – от всех скорбей лекарство.  
Уйдем же к ней мы в призрачное царство!

IV

Там нет ни зла людского, ни добра,  
Там даже смерти не страшна угроза.  
Луна порой в немые вечера  
На стеклах бледные цветы мороза  
Вдруг оживит: что значит их игра  
Бесцельная?.. Холодной жизни проза,  
Гори, гори и ты в стихе моем,  
Как этот лед, таинственным огнем!

V

О, юность бедная моя, как мало  
Ты вольных игр и счастья мне дала:  
Классической премудрости начало,  
Словарь латинский, холод, скука, мгла...  
Как часто я бранил тебя, бывало;  
Но все прошло, – теперь не помню зла:  
Не до конца сумели в пыльной груди  
Нелепых книг тебя испортить люди.

VI

За сладостный, невинный жар в крови,  
За первые неопытные грезы,  
За детское предчувствие любви  
Среди унынья, холода и прозы,  
За маленькие радости твои,  
За одинокие, немые слезы,  
О, молодость, за красоту твою  
Тебя люблю, тебе я гимн пою!

VII

Врата несуществующего рая,  
Ненаступивших радостей залог,  
Благословлю обман твой, умирая.

Я никогда проклясть тебя не мог,  
О горькая, о жалкая, святая,  
Тебя непобедимой создал Бог:  
В тебе есть холод, девственная нега  
И чистота нетронутого снега...

#### VIII

Однажды мы весною в первый раз  
Открыли окна слишком рано, в марте;  
Пахнул к нам свежий воздух в душный класс;  
На стенах с пятнами чернил, на парте,  
Изрезанной ножами в скучный час  
Закона Божьего, на пестрой карте  
Америки луч солнечный блестел,  
В листах грамматик ветер шелестел.

#### IX

Я думаю, Арמידин[13] сад, и ты бы  
Нам более счастливых не дал грез,  
Чем грязный двор, где льда седого глыбы  
Кололи дворники; не запах роз,  
А москательных лавок, мяса, рыбы –  
Зефир весенний с рынка нам принес...  
А воробьи на крышах стаяй шумной  
Чирикали от радости безумной.

#### X

Смотрели жадно мы на красный дом,  
Влюбившись сразу в барышню-соседку.  
К окну подходит – видно за стеклом, –  
Чтобы крупы насыпать птице в клетку.  
Тетради, книги наши под столом:  
Как мотылек, попавший детям в сетку,  
Трепещет сердце, и волнует кровь  
Мне глупая и милая любовь.

#### XI

Пусть наглухо опять окно закрыли:  
Проснувшись вдруг от мертвенного сна,

ский д. Из Собрании стихов (1904), Собрании стихов (1910) и Полного собрания сочинений (1912) fil

Сквозь мутное стекло под слоем пыли,

Глядим, – душа надеждою полна,

Мгновенно всю грамматику забыли.

Ты победила, вечная весна!

Так молодость в тюрьме находит радость

И горечь жизни превращает в сладость...

XII

Мне эта улица мила с тех пор:

В галантерейной маленькой лавчонке

Доныне все еще пленяют взор

И те же чувства будят, как в ребенке, –

Знакомых ситцев пестренький узор,

Духи, помада, зеркальца, гребенки

И волны подвенечной кисеи –

Соблазны юной прачки и швеи.

XIII

Душа волненьем сладким вновь объята,

Когда по тем местам я прохожу;

Как тихий свет унылого заката,

Я в улице безмолвной нахожу

Следы тех дней, которым нет возврата...

И сам не знаю, чем в них дорожу;

Но жизнь кругом – холодная пустыня,

Лишь в прошлом все – отрада и святыня.

XIV

Люблю я запах елки в Рождество,

Когда она таинственно и жарко

Горит, и все мы ждем Бог весть чего...

Пускай беду пророчит злая Парка, –

Я верю в елку, верю в торжество,

По-прежнему от Бога жду подарка.

Как елка, ты – в огнях, ночная твердь.

Ужель подарок Бога – только смерть?

XV

Все мимолетно – радости и мука,

Но вечное проклятие богов –

Не смерть, не старость, не болезнь, а скука,  
Немая скука долгих вечеров,  
Скучать с приличным видом есть наука  
Важнейшая для умных и глупцов:  
Подруги наши – страсть, любовь иль злоба,  
А скука – вечная жена до гроба.

XVI

О, темная владычица людей,  
Как рано я узнал твои морщины,  
Недвижный взор твоих слепых очей,  
Лицо мертвее серой паутины  
И тихий лепет злых твоих речей!..  
Но оживлять унылые картины  
Не буду вновь: уж я сказал о том,  
Чем был наш мрачный и холодный дом.

XVII

Все важно в нем и сонно, и прилично.  
Отец любил детей, но издали:  
Он каждую субботу педантично,  
Просматривая баллы, за нули  
Нотации читать умел отлично.  
Без дружбы, вечно ссорясь, мы росли  
Все вместе, кучей, как в тени древесной  
Семья грибов: нам было слишком тесно..

XVIII

С Сергеем мы ходили в тот же класс.  
Напоминая бойкую лисичку,  
Зрачки зеленоватых быстрых глаз  
Лукаво щурить он имел привычку;  
Лицо в веснушках помню как сейчас,  
Пронырливый и острый носик; кличку  
Всему давал он метко; был актер  
И дипломат, насмешлив и хитер.

XIX

А неуклюжий Саша, молчаливый,

ский д. Из Собрания стихов (1904), Собрания стихов (1910) и Полного собрания сочинений (1912) файл

С лицом румяным и тупым, в очках, –  
Как медвежонок, дикий и ленивый;  
В монахи собирался он, в делах  
Земных не видя толку; горделивый  
Тот замысел погиб и стал монах –  
Немало в жизни всяких превращений –  
Чиновником особых поручений.

XX

Благоразумен, важен, как старик,  
Был Коля гимназистом идеальным;  
Премудрость всех учебников постиг.  
С лицом худым, бескровным и печальным,  
Питая страсть, как первый ученик,  
К пятеркам с плюсом и листам похвальным,  
Смиряться он умел, терпеть и ждать  
И всякому начальству угождать.

XXI

Но иногда, романтик добродушный,  
Про все забыв, каких-то ведьм и фей,  
И рыцарей, и замок их воздушный  
Чертил пером в тиши воскресных дней,  
Воображенью странному послушный,  
Он на полях латинских словарей,  
Влюбленный в этот мир необычайный:  
Он верил в сны, пророчества и тайны...

XXII

У нас в крови – неугасимый жар  
Мистического бреда; это – сходство  
Семейное, опасный людям дар,  
Наследственный недуг иль превосходство,  
Под пеплом жизни тлеющий пожар, –  
Не ведаю – талант или уродство..  
Вольнолюбивый, непокорный дух,  
Доныне в нас огонь твой не потух.

XXIII

Обычный в жизни путь ему неведом,



Противен будничным и тесным круг.

Был Костя, старший брат мой, правоведом;

Но поступил он, возмутившись вдруг,

и полный нигилизма модным бредом,

На факультет естественных наук:

Не следуя отцовскому примеру,

Он погубил блестящую карьеру.

XXIV

Самонадеян и умен, и горд,

Наш мертвый дом, чиновничий и серый,

Он презирал: настойчив, волей тверд,

в добре и зле без удержу, без меры,

От микроскопов ждал он и реторт

Неведомых чудес и новой веры.

Любила мать его; с отцом всегда

Была у Кости тайная вражда.

XXV

Мне помнится под колбою стеклянной

Спиртовой лампочки дрожащий блеск

и жидкости опаловой, туманной

в прозрачных стенках легкий звон и плеск,

волшебной искры голубой и странной

на гальванической машине треск...

в густой тени большого кабинета

желтели кости пыльного скелета.

XXVI

Мне объяснял фанатик молодой

открытья, чудеса лабораторий,

неясные мелькали предо мной

отрывки дерзновеннейших теорий;

показывал он в капле водяной

друг друга пожиравших инфузорий,

и слушал я, потупив робкий взор,

про дарвинов естественный подбор.

XXVII

ский д. Из Собрания стихов (1904), Собрания стихов (1910) и Полного собрания сочинений (1912) файл

Я чувствовал, что он не прав во многом:

Краснея, запинаясь я, дрожал,  
Ребяческим и неумелым слогом  
На доводы науки возражал,  
Когда, смеясь над чертом и над Богом,  
Он все, во что я верил, разрушал...  
Хотя и страшно было мне и больно, –  
Запретный плод прельщал меня невольно.

XXVIII

И любопытство жадное влекло  
К опасности на крайние ступени,  
И в первый раз на детское чело  
Уже недетских дум ложились тени:  
Пленяет душу человека зло.  
Как некогда Адаму в райской сени –  
«Вкуси и будешь богом», – мудрый Змей,  
Коварный дал совет душе моей.

XXIX

В столовой раз за чаем мы сидели;  
Здесь маятник медлительных часов,  
Влачившихся без отдыха, без цели,  
Вкус тех же булок, звуки тех же слов  
И тусклые обои надоели  
Знакомым видом желтеньких цветов.  
На ужин экономно разогреты  
Унылые вчерашние котлеты.

XXX

Из всех углов ползет ночная тень,  
Цедится струйка жиденького чая  
Сквозь ситечко; смотреть и думать – лень,  
Царит безмолвье, мысли удручая...  
У матери – всегдашняя мигрень.  
И лампа бледная горит, скучая,  
И силы нет дремоты превозмочь, –  
Скорей бы сон бесчувственный и ночь.

XXXI

Вдруг настезь дверь, – и дрогнул воздух сонный,  
И старший брат с улыбкой на устах  
Вошел и, нашей скукой изумленный,  
Тотчас притих; румянец на щеках  
Еще горит, морозом оживленный,  
Пылинки снега тают в волосах:  
Он с улицы принес душистый холод,  
Глаза блестят, – он радостен и молод.

XXXII

Отец спросил: «Откуда?» – «Из суда, –  
Присяжные Засулич оправдали!»  
«Как? ту, что в Трепова стреляла?» – «Да». –  
«Не может быть!..» – «Такой восторг был в зале,  
какого не бывало никогда:  
Мы полную победу одержали!»  
Отец сердито молвил: «Что за вздор!»  
И вспыхнул вдруг ожесточенный спор.

XXXIII

И шепотом беспомощных молений  
Напрасно мама хочет их унять:  
То спор был вечный, распря поколений, –  
Не уступают оба ни на пядь,  
Не слушают друг друга: «Убеждений  
Вы права не имеете стеснять!» –  
Кричит студент; они вскочили оба, –  
В очах старинная слепая злоба.

XXXIV

«Наука доказала...» – «Чушь и гниль –  
Твоя наука... Вечные основы  
Религии...» – «Основы ваши – гниль!  
Пред истиною все они готовы  
Рассыпаться, как мертвый прах и пыль...  
Нам Спенсер дал для жизни принцип новый!» –  
«А Бог?..» – «Нет Бога!» – «Спенсер твой –  
дурак!»

Дошли до Бога, – это скверный знак.

XXXV

Теперь конец уж ясен бедной маме, –  
Ей скажет муж: «Во всем – твоя вина.  
Детей избаловала!» В этой драме  
Немою жертвой быть обречена,  
Печальными и кроткими глазами,  
Беспомощного ужаса полна,  
Глядит на них и вся мольбою дышит:  
Никто ее не видит и не слышит.

XXXVI

«Прочь, негодяй, из дома моего!..» –  
Кричит отец, бледнея. «Ради Бога,  
Не будь к нему жесток, прости его,  
Ну, хоть меня ты пожалей немного!» –  
«Нет, не просите, мама, – ничего –  
Не надо! – Костя ей кричит с порога, –  
Я рад уйти: мне воля дорога,  
Не будет больше здесь моя нога!

XXXVII

Вам оскорблять себя я не позволю...»  
И он дверями хлопнул. Мать жалел,  
Но думал я, что Костя выбрал долю  
Завидную: как был он горд и смел!  
И за героем я рвался на волю,  
Я сам дрожал от злобы и горел:  
душа была смятением объята;  
Я разделить хотел бы участь брата.

XXXVIII

И долго я в ту ночь не мог уснуть:  
Все чудились мне тихие рыдания;  
Предчувствием беды сжималась грудь.  
Я встал; лишь уличных огней мерцанье  
По комнате мне озаряло путь,  
Когда среди глубокого молчанья,  
Как вор, прокравшись в темный длинный зал,

Я разговор из спальни услышал:

XXXIX

«Он может повредить моей карьере...  
Каков щенок, мальчишка, нигилист!» –  
«Ну, денег дай ему по крайней мере:  
Он вспыльчив, сердцем же он добр и чист...»  
Я ухо приложил к закрытой двери  
И в темноте внимал, дрожа, как лист,  
И страшно было мне, стучали зубы:  
Слова отца безжалостны и грубы.

XL

С тех пор прошли года, но помню то,  
Что слышал там: осталось в сердце жало.  
«Он – сын твой, не губи его, – за что?..» –  
«Ведь я сказал: дам сорок в месяц». – «Мало». –  
«А сколько ж?» – «Сто». – «Ну, пятьдесят...» –  
«Нет, сто...»

Мольбою долгой, долгой и усталой,  
Упрямой силою любви своей  
Она боролась с ним из-за грошей.

XLI

Я слов уже не слышал – только звуки  
Все тех же просьб: так падает вода  
И точит твердый камень; лишь от скуки  
Он делал ей уступку иногда.  
Она ему в слезах целует руки,  
Терпеньем побеждает, как всегда,  
Смирением глубоким и притворством,  
И жертв незримых медленным упорством.

XLII

Мы грешны все: я не сужу отца.  
Но ужаса я полн и отвращенья  
К семейной пытке, к битве без конца,  
Без отдыха, где нет врагу прощенья,  
Где только бледность кроткого лица

Иль вздох невольный выдает мученья:

Внутри – убийство, а извне хранит  
Законный брак благопристойный вид.

XLIII

Когда же утром мы при лампе встали  
И за окном, сквозь мокрый снег и тень,  
С предчувствием заботы и печали  
Рождался вновь ненужный серый день,  
За кофею от няни мы узнали,  
Что мать больна, что у нее мигрень:  
И вещая тоска мне сердце сжала.  
Три дня она в постели пролежала.

XLIV

И может быть, то первый приступ был  
Болезни тяжелой, длившейся годами,  
Неисцелимой; все же гневный пыл  
Отца смягчен был долгими мольбами.  
Хотя он ссоры с Костей не забыл,  
Но поневоле, уступая маме,  
Не одобряя баловства детей, –  
Не сорок дал ему, а сто рублей.

XLV

И жизнь пошла, чередой однообразной:  
Зазубрины и пятнышки чернил  
Все те же на моей скамейке грязной,  
Родной язык коверкая, долбил  
Я тот же вздор латыни безобразной,  
И года три под мышками теснил  
Все в том же месте мне мундирчик узкий,  
На завтрак тот же сыр и хлеб французский.

XLVI

Лимониус, директор, глух и стар,  
Софокла нам читал и Одиссею,  
Нас усыплять имея редкий дар;  
Но до сих пор пред ним благоговю,  
Лишь вспомню, с крепким запахом сигар,

Я вицмундир перед скамьей моею  
И тонкий пух седых его волос  
И в голубых очках багровый нос.

XLVII

Урок по спрятанной в рукав бумажке,  
Бывало, всякий бойко отвечал.  
При нем играли в карты мы и в шашки:  
Нам добродушный немец все прощал;  
Но вдруг за белый воротник рубашки  
Неформенной, за галстук он кричал  
С нежданным пылом ярости безмерной  
И тем внушал нам трепет суеверный.

XLVIII

Честнейший немец Кесслер – латинист,  
Заросший волосами, бородатый,  
На вид угрюм, но сердцем добр и чист, –  
Как древние Катоны, [14] Цинциннаты [15]  
И Сцеволы; [16] большой идеалист,  
Из года в год, отчаяньем объятый,  
Всем существом грамматику любя,  
Он нас терзал и не жалел себя.

XLIX

Ответов ждал со страхом и томленьем,  
Краснея сам, смущаясь и дрожа:  
Ему казалась личным оскорбленьем  
Неправильная форма падежа,  
Ему глагол с неверным удареньем  
Из наших уст был как удар ножа.  
Земному чуждый, пламенный фанатик,  
Писал он ряд учнейших грамматик.

L

Читал Платона Бюрик – не педант,  
Напротив, весельчак, но злейший в мире,  
Весь белый, бритый, выхолненный франт,  
В обрызганном духами вицмундире;

ский д. Из Собрания стихов (1904), Собрания стихов (1910) и Полного собрания сочинений (1912) файла

К жестоким шуткам он имел талант:

Того, кто знал урок, оставив в мире,  
Он робкого лентяя выбирал  
И долго с ним, как с мышью кот, играл.

LI

Несчастный мальчик, с мнимой отвагой,  
К доске уже бледнея подходил;  
Тот одобрял его, шутил с беднягой  
И понемногу в дебри заводил,  
Не торопясь; но покрывались влагой  
Глаза его, он медленно цедил  
Слова сквозь зубы и в дремоте сладкой  
Ласкал тихонько подбородок гладкий.

LII

Как выступал на лбу ученика  
Холодный пот, с улыбкой сладострастной  
Следил, и мухой в лапах паука  
Тот бился все еще в борьбе напрасной:  
Томила жертву смертная тоска;  
«Скорей бы нуль!» – мечтал уже несчастный,  
В схоластике блуждая без руля,  
А смерти нет, и нет ему нуля!

LIII

Но в старших классах алгебры учитель  
Был хуже немцев – русский буквоед,  
Попов, родной казенщины блюститель;  
Храня военной выправки завет,  
Незлобивый старательный мучитель,  
Он страшен был душе моей, как бред...  
В лице – подобье бледной мертвой маски –  
Мерцали хитрые свиные глазки.

LIV

В нем было все противно: глупый нос  
И на челе торжественном и плоском  
Начальственная важность, цвет волос  
Прилизанных и редких с желтым лоском;



Он – неуклюж, горбат, и хром, и кос, –  
Казался жалким странным недоноском.  
Всегда покорен и застенчив, раз  
Я дерзким бунтом удивил наш класс.

LV

Мне от Попова слушать надоело –  
«Ровней держитесь, выпрямите грудь!»  
Я на скамью – неслыханное дело –  
Сел, опершись локтем, чтоб отдохнуть,  
И пуговиц, ему ответив смело,  
На сюртуке дерзнул не застегнуть;  
Он закричал, но я решил упрямо:  
Умру, не застегну, не сяду прямо!

LVI

Лимониус с инспектором пришли,  
И сторожа меня на новоселье  
В сырой, холодный карцер повели  
И заперли на ключ в позорной келье, –  
Жилище крыс, но там, во тьме, в пыли,  
Я чувствовал нежданное веселье:  
Подвижником себя воображал  
И в лихорадке сладостной дрожал.

LVII

Как жаждал сердцем правды я и мщенья!  
Не все ль равно, за что восстать – за мир  
И все его обиды и мученья  
Или за право расстегнуть мундир?  
Тебя познал я, демон возмущенья:  
Утратив сердца прежний детский мир,  
Я чувствовал, – хотя был бунт напрасен, –  
Что ты, Злой дух, мой темный Бог – прекрасен!

LVIII

Тебе остался верен я с тех пор  
И, соблазненный ангелом суровым,  
Не покорюсь, всю жизнь веду я спор

Душа безумно рвется на простор.

За то, что я к мирам стремился новым,  
За то, что рабства я терпеть не мог, –  
Меня казнил Лимониус и Бог.

LIX

В те дни уж я томился у преддверья  
Сомнений горьких, и когда наш поп,  
Находчивый и полный лицемерья,  
Доказывал, наморщив умный лоб,  
Чтоб истребить в нас плевелы неверья,  
Научною теорией потоп  
Иль логикой – существованье Бога, –  
Рождалась в сердце вещая тревога.

LX

И бес меня смущал: нас каждый день  
Водили в церковь на Страстной неделе;  
Напев дьячка внушал мне сон и лень:  
Мы по казенным правилам говели;  
И неуютною казалась тень,  
Не дружески огни лампад блестели;  
Рука творила знаменье креста,  
Но мертвая душа была пуста.

LXI

Кошунственная мысль была упряма;  
И чистая святая белизна  
Просвирки нежной, запах фимиама,  
Вкус теплого церковного вина,  
И голубь, дух Святой, на своде храма,  
За царскими вратами глубина  
Не веют в душу прежней сладкой тайной:  
Рождает все лишь страх необычайный.

LXII

Но по привычке давней перед сном  
Я начинал молитву, умиленный:  
С подарком няни – сахарным яйцом

На алой ленте, с вербой запыленной,  
Был образок так родствен и знаком..  
Когда же вновь опомнюсь, пробужденный, –  
Как будто вдруг в душе потухнет свет,  
И ужасает мысль, что Бога нет.

LXIII

Скребется мышь, страшат ночные звуки,  
На улице умолк последний шум.  
А я сижу во тьме, ломая руки,  
И отогнать не в силах грешных дум:  
С мятежным духом, дьяволом науки,  
Изнемогая борется мой ум,  
И ангела-хранителя напрасно  
На помощь я зову с надеждой страстной.

LXIV

Что избавление должно прийти,  
Я чувствую, не ведая, откуда.  
Целуя образ, я молил: «Прости!  
Не верю я и знаю – это худо,  
Но ведь Тебе легко меня спасти:  
О, дай мне знак, о, только сделай чудо,  
Теперь, сейчас, до наступленья дня, –  
Хоть маленькое чудо для меня!»

LXV

Миссионер для обращенья Кости,  
Ученый поп, был приглашен отцом:  
Он приходил к нам по субботам в гости;  
В лиловой рясе с золотым крестом.  
Пить чай умел, в беседах, чуждых злости,  
Лоб вытирая шелковым платком,  
С баранками и сливками так вкусно  
И Дарвина опровергал искусно.

LXVI

И спорам их о Боге без конца  
Я с жадностью внимал, дохнуть не смея:

ский д. Из Собрания стихов (1904), Собрания стихов (1910) и Полного собрания сочинений (1912) файла

Доказывал он Промысел Творца,

И, объясняя книги Моисея,

С приятной тихой важностью лица

Цитатами из книг ученых сея,

По поводу Адама говорил

Он о строеньи черепа горилл.

LXVII

Но дерзкого неверья злое семя

В душе моей росло: я помню, раз

Наш батюшка в гимназии, в то время

К принятию Тайн Святых готовя класс,

Моих сомнений увеличил бремя:

Смутил меня о грешнике рассказ,

Вкусившем недостойно от Причастья:

Я слушал, полон жадного участия.

LXVIII

Как Тайнами Христовыми сожжен,

язык его лукавый был раздвоен

И в трепетное жало превращен...

Я был, как этот грешник, недостоин;

В кощунственные мысли погружен,

Я ждал беды, угрюм и беспокоен,

И, веря, что меня накажет Бог,

Раскаяться хотел я и не мог.

LXIX

С непобедимым трепетом боязни

Об исповеди думал, и тоска

Мне грызла сердце, холод неприязни

Внушал один лишь вид духовника:

Я представлял весь ужас этой казни

И чувствовал, как вместо языка

Во рту моем шипело и дрожало

Змеиное раздвоенное жало.

LXX

Но вышло все так просто, без чудес,

Что я почти жалел о том, и с шумом

Весенних вод напев «Христос воскрес»

Теперь в молчанье слушал я угрюмом:

Веселый праздник для меня исчез, –

Уже ни Пасха белая с изюмом,

Ни с розаном, нежны и горячи,

Не радовали сердце куличи.

LXXI

Я с нянею пошел на балаганы:

Здесь ныла флейта, и пищал фагот,

И с бубнами гудели барабаны.

До тошноты мне гадок был народ:

Фабричные с гармониками, пьяный

Их смех, яйцом пасхальным полный рот,

Самодовольство праздничного вида, –

Все для меня – уродство и обида.

LXXII

А в тучках – нежен золотой апрель.

Царицын луг уж пылен был и жарок;

Скрипя колеса вертят карусель,

И к облакам ликующих кухарок

Возносит в небо пестрая качель:

В лазури цвет платков их желтых ярок...

И безобразье вечное людей

Рождает скорбь и злость в душе моей.

LXXIII

И благовест колоколов победный,

Как приговор таинственный, гудел...

Я в эти дни, к прискорбью мамы бедной,

Как будто в злой болезни, похудел:

По комнатам, как тень, слонялся, бледный

И нелюдимый, плохо спал и ел,

И спрашивала мать меня порою

В отчаянье: «Мой мальчик, что с тобою?..»

LXXIV

Но я молчал, стыдился дум моих,

Лишь изредка, не говоря ни слова,  
К ней подходил, беспомощен и тих,  
И маленьким, не думающим снова  
Я делался от ласк ее простых,  
Когда она, жалея, как больного,  
И мудрое безмолвие храня,  
С улыбкою баюкала меня.

LXXV

Спасителем моим Елагин милый  
Был, как всегда: экзамены прошли,  
И, как покойник, вставший из могилы,  
Я свежестью дышал сырой земли,  
От солнца щурился, больной и хилый,  
Но радовали в море корабли,  
Знакомый пруд, и ледник, и дорожка  
Меж грядками душистого горошка.

LXXVI

Все трогало меня почти до слез –  
С полупрозрачной зеленью опушка  
И первый шелест молодых берез,  
И вещая унылая кукушка,  
И дряхлая подруга детских грез –  
Родная ива, милая старушка,  
И дачный вкус парного молока,  
И теплые живые облака.

LXXVII

Катались мы на лодке с братом Сашей:  
Покинув весла, зонтик дождевой  
Мы ставили, как парус, в лодке нашей;  
Казался купол неба над водой  
Лазурной опрокинутою чашей,  
И на пустынной отмели порой  
С гниющим остовом ладьи рыбацъей  
Картофель мы пекли в золе горячней.

LXXVIII

Закусывая парой огурцов

И слушая великое молчанье  
Зеркальных вод и медленных коров  
Протяжное унылое мычанье,  
И в стеблях желтых водяных цветов  
Ленивых струек слабое журчанье, –  
Я все мои грамматики забыл,  
Не думал, есть ли Бог, и счастлив был.

LXXIX

Скучать в домашней церкви за обедней  
По праздникам в Елагинский дворец  
Водили нас; я помню, в арке средней  
Меж ангелами реял Бог Отец.  
Но суетных мой ум был полон бредней,  
Я думал: службе скоро ли конец?  
Смотрел, как небо в перистых волокнах  
Высоких туч блестит в открытых окнах.

LXXX

Крик ласточек сквозь пение псалмов,  
Шумящие под свежим ветром клены,  
Дыхание сиреневых кустов, –  
Все манит прочь из церкви в сад зеленый,  
И кажется мне страшным лик Христов  
Сквозь зарево свечей во мгле иконы:  
Любовью, чуждой Богу, мир любя,  
Язычником я чувствовал себя.

LXXXI

И в этой церкви раз в толпе воскресной,  
Среди девиц уродливых и дам,  
Увидел профиль девушки прелестной,  
Смотрел я жадно, волю дав очам:  
Мне было все в ней тайною чудесной,  
Подобной райским непонятым снам,  
И я в благоговенье не заметил,  
Цвет глаз ее был темен или светел.

LXXXII

Лишь смутно помню, что она была

Вся в белом кружеве; глубокой тенью

Ресниц и томной бледностью чела

Я изумлен и предан был смятенью:

Казалась мне, воздушна и бела,

Она принцессой Белою Сиренью,

Окутанною в сказочный туман.

Тайком невинный начался роман.

LXXXIII

И образ твой, елагинская фея,

Доныне сердцу памятен и мил;

Там, где к пруду спускается аллея,

За белым платьем иногда следил

И прятался я, подойти не смея;

Ни разу в жизни с ней не говорил,

Любви неопытную душу предал,

Хоть имени возлюбленной не ведал.

LXXXIV

Когда в затишье знойных вечеров

Гармоника кухарок собирала

В конюшню – царство важных кучеров,

И в облаках был нежный цвет коралла,

С толпою неуклюжих юнкеров

В крокет моя владычица играла

И бегала, смеялась громче всех:

Доныне в сердце – этот милый смех.

LXXXV

И, крадучись, как вор, к решетке сада

За дачей, где она жила, тайком

Я подходил, и было мне отрада

Смотреть на ветхий деревянный дом,

Хотя мешала пыльная ограда

Кустов колючих; к тем, кто с ней знаком,

Я завистью был жгучей пожираем,

И садик бедный мне казался раем.

LXXXVI



Но холод жизни ранний цвет убил,  
И все, что было мне еще неясно,  
Что я в душе лелеял и хранил,  
Едва родившись, умерло безгласно, –  
И никогда я больше не любил  
Так пламенно, так нежно и напрасно,  
Как в тех мечтах, погибших навсегда  
Без имени, без звука, без следа...

LXXXVII

Мы в сердце вечную таим измену:  
Уж привлекал внимание мое  
Иной предмет: однажды прачку Лену  
Я увидел, стиравшую белье:  
Я помню мыла тающую пену,  
Когда сквозь пар смотрел я на нее,  
Румяную, с веснушками, с глазами  
Почти без мысли, с голыми руками.

LXXXVIII

А в прачешной и в кухне был пожар  
Сияния вечернего: блеснули  
Ведро, кофейник, яркий самовар,  
Зрачки кота, дремавшего на стуле,  
И полымем объятые, как жар,  
Кругом на полках медные кастрюли;  
И Лена, вся здоровьем дыша,  
Была в огне заката хороша.

LXXXIX

И весело мне было рядом с нею:  
Под нежным солнцем в тонких завитках  
Коротеньких волос я видел шею  
И ямочки на розовых локтях.  
Хотя любил я сказочную фею,  
Но эта баба с утюгом в руках,  
Богиня синьки, мыла и крахмала,  
Мое воображение занимала.

Зачем ты дал нам две души, Господь?

Друг друга ненавидя и страдая,  
Напрасно в людях спорят дух и плоть,  
Любовь небесная, любовь земная:  
Одна другой не может побороть.

С Владыкой Тьмы враждует Ангел рая:  
Кому из них я первенство отдам,  
Кто победит меня, – не знаю сам.

ХСІ

Не смейся же, читатель благосклонный,  
Что мы с тобой нежданно перешли  
От прачки Лены с барышней-Мадонной  
К противоречьям неба и земли:  
Один закон владеет непреклонный  
Созвездьями, горящими вдали,  
С их правильным восходом и закатом  
И силой, движущей незримый атом.

ХСІІ

Так сразу я в двух женщин был влюблен:  
Мне самому казалось это диким...  
Уже тогда, с младенческих времен,  
Лукавым духом, Янусом двуликим,  
Неопытный мой ум был соблазнен,  
И с этих пор я с ужасом великим  
Всю жизнь внимал, как с Богом спорит бес,  
Дух грешной плоти с ангелом небес.

ХСІІІ

Тот узел Гордиев чей меч разрубит?  
О, если бы решить я только мог.  
Кого душа моя сильнее любит,  
кто сердцу ближе: демон или бог!  
их двойственный соблазн меня погубит:  
я все еще стою меж двух дорог,  
и с прачкой Леной борется богиня –  
С кощунством вечным – вечная святыня.

XCIV

Я осенью в тот год увидел Крым:  
Казался край далекий сном волшебным.  
Я не из тех, кому приятен дым  
Отечества, и был всегда целебным  
Мне путь далекий к небесам иным.  
Отец мой ехал по делам служебным;  
Его давно уже молила мать  
Меня с собой на южный берег взять.

XCV

Из царства моха, кочек и рябины  
Перелетел я в дремлющий аул  
В уютной неге солнечной долины;  
Мне яркий месяц в очи заглянул;  
В тиши ночной таинственной пучины  
Я полюбил многоголосый гул,  
Смотрел, как в небе серебрится тополь  
И при луне белеет Севастополь.

XCVI

Там, где шумят немолчные валы,  
Где вознеслись над морем великаны –  
Из черного базальта две скалы,  
И стелются над пропастью туманы,  
Где реют с хищным клекотом орлы,  
Был некогда великий храм Дианы, –  
Там ныне мрачный и глухой пустырь,  
А рядом – крест и бедный монастырь.

XCVII

В обители Георгия Святого  
Здесь иноки нашли себе приют,  
Но по ночам на мысе диком снова  
Колонны храма белого встают –  
Языческие призраки былого,  
И волны гимн торжественный поют...  
Там я бродил, и сердце грустью ныло,

ский д. Из Собрания стихов (1904), Собрания стихов (1910) и Полного собрания сочинений (1912) файл

А колокол вдали звучал уныло.

ХСVIII

О, боги древности, я чуял вас,  
Когда в безмолвной и печальной тризне  
Сюда ваш рой слетал в предзвездный час:  
Казалось мне, – в иной далекой жизни  
Я с вами здесь бывал уже не раз  
И ныне вновь пришел к моей отчизне;  
С виденьями богов наедине  
И сладостно, и страшно было мне...

ХСIX

Обвеян прелестью твоей, Эллада,  
В какие был я думы погружен,  
Чему душа была безумно рада,  
Когда горел полдневный небосклон  
И волн дышала вечная прохлада  
На высоте меж греческих колонн  
Той полукруглой маленькой веранды  
Над рощами тенистой Ореанды.

С

Там я любил по целым дням мечтать:  
В благоуханье мяты и шафрана  
И в яркости твоей, морская гладь,  
И в бледной дымке знойного тумана, –  
Во всей природе южной – благодать  
Великого языческого Пана.  
О, древний бог, под сенью рощ твоих  
Сложил я первый неумелый стих.

CI

Но долго я скрывал подруги тайной,  
Стыдливой Музы, нежные грехи:  
Хромой сонет о бледной розе чайной  
Восторженной был полон чепухи.  
Но, музыкою рифм необычайной  
Я упивался: глупые стихи  
Казались мне пределом совершенства,

И я над ними плакал от блаженства.

СII

я Пушкину бесстыдно подражал,  
Но, ослеплен туманом романтизма,  
В «Онегине» я только рифм искал:  
Нужна была мне сказочная призма –  
Луна и пурпур зорь, и груды скал;  
Мятежный Пушкин, полный байронизма  
И пышных грез, мне нравился тогда,  
Каким он был в двадцатые года.

СIII

Я пел коварных дев, красы Эдема  
И соловья над розой при луне,  
И лучшую из тайных роз гарема,  
Тебя, которой бредил я во сне  
И наяву, о, милая Зарема.  
Стихи журчали, и казалось мне,  
Что мой напев был полон неги райской,  
Как лепет твой, фонтан Бахчисарайский!

СIV

Я не люблю родных моих, друзья  
Мне чужды, брак – тяжелая обуза.  
В томительной пустыне бытия  
Гонимая отверженная Муза –  
Единственная спутница моя.  
И более надежного союза  
Нет на земле: с младенчества храня,  
Она, как мать, лелеяла меня.

CV

Не ведали мы с нею шумной славы,  
Но в дни унынья ты была со мной,  
Богиня кроткая, в тени дубравы  
Или у вод, объятых тишиной,  
Где сонные благоухают травы,  
Ждала меня с улыбкой неземной,

ский д. из Собрания стихов (1904), Собрания стихов (1910) и Полного собрания сочинений (1912) файла

Таинственной прелестью дышала

И ласкою невинной утешала.

CVI

И был в чертах прекрасного лица  
Глубокий след божественной печали.

Лавровой тенью гордого венца

Твоей главы друзья не увенчали.

Ты слышала и брань и суд глупца,

Сообщников немногих мы встречали.

Но, совершая долг своим путем,

Всегда мы шли и до конца пойдём.

CVII

С тобой не страшен ночи мрак беззвездный:

Направь мои неверные стопы.

Над пропастью цветы тебе любезны,

Растущие не на путях толпы,

И ты ведешь меня по краю бездны

На узкие необщие тропы,

Откуда виден отблеск на вершинах

Зари, еще неведомой в долинах.

CVIII

Пусть годы память обо мне сотрут,

Слезой умильной юноши и девы

Не осветят мой незаметный труд,

Пусть не дано взошедшие посева

Очам моим увидеть и замрут

Без отклика негромкие напевы:

Я сердцем чист, я делал все, что мог, –

Тебя, о, Муза, оправдает Бог.

CIX

Мы не нашли в сердцах людей ответа,

Но только бы он до конца горел,

Огонь, которым жизнь моя согрета, –

Недаром я любил, страдал и пел.

Благословен святой удел поэта,

Благословен изгнанников удел,

Мой угол бедный, тихая лампада –  
Моих ночей и тайных слез отрада.

СХ

Когда я с Музой начинал мой путь  
И ждал победы, дерзостен и молод,  
Как страшно было в лете потонуть,  
Как мучил славы ненасытный голод!  
Но в тридцать лет ровнее дышит грудь,  
Сулит покой нам леты вечный холод:  
Отрада есть в ее ночной волне, –  
В молчании, в забвенье, в тишине...

СХI

А может быть и то: под слоем пыли  
Меж тех, чьи книги только мышь грызет,  
Кого давно на чердаке забыли,  
Историк важный и меня найдет  
И песнь мою о стародавней были  
С улыбкою внимательной прочтет,  
И гордую в изгнании суровом  
Помянет Музу нашу добрым словом.

СХII

Теперь с тобой прощаясь, мы почтим,  
Богиня, ту, что тихо спит во гробе,  
Кто ангелом-хранителем твоим  
Была во мраке, холоде и злобе.  
Возлюбленную тень благословим:  
Вы были мне заступницами обе,  
И верую, что в час последний вновь  
Меня спасет великая любовь.

СХIII

Ты в горестный и страшный час, родная,  
Придешь ко мне не с горестным лицом,  
Не слабая, не жалкая, больная,  
Такой, как ты была перед концом,  
Но с девственной улыбкой, молодая,

ский д. Из Собрания стихов (1904), Собрания стихов (1910) и Полного собрания сочинений (1912) fil

С торжественно сияющим венцом,  
Меня в преддверье новой жизни встретишь  
И радостно на мой призыв ответишь.

СXIV

Сотрешь с чела в предсмертной тишине  
Холодный пот моей последней муки.  
Чтоб слаще мне спалось в могильном сне,  
Баюкая, на любящие руки  
Возьмешь меня и тихо скажешь мне:  
«Не бойся же, – нет смерти, нет разлуки.

Тебе я песню прежнюю спою, –  
Усни, мой мальчик, баюшки-баю».

СXV

Великого обета не нарушу:  
О, мама, скоро я к тебе приду!  
Как погибающий пловец – на сушу,  
Стремлюсь к тебе и радуюсь, и жду:  
Душа обнимет родственную душу,  
В твоих чертах любимых я найду, –  
Как разрешишь ты все земные узы, –  
Черты моей богини, вечной Музы.

Середина – конец 1890-х годов

Примечания

1

«Или! Или! ламма савахфани?» – «Боже мой! Боже мой! для чего Ты меня оставил?» (Евангелие от Матфея, XXVII, 46.) Христос произносит эти слова на арамейском языке.

2

Дориносимый – носимый на копьях. Образ заимствован из древнеримской истории: подобно тому, как дружина поднимала на копьях стоящего на щите царя, небесное воинство несет на копьях Господа Сил небесных.

3

Перевозчик теней умерших через Стикс – реку подземного царства (греч. миф.).

4

Здравствуйте, спокойной ночи (франц.).



ский д. Из Собрания стихов (1904), Собрания стихов (1910) и Полного собрания сочинений (1912) filo

5

Дети, пить молоко! (нем.)

6

Тиберий, Клавдий-Нерон (42 до н. э. – 37 н. э.) – римский император.

7

Фемистокл (ок. 525 – ок. 460 до н. э.) – афинский полководец.

8

Волк... увидел... пасущихся на горе... (лат.).

9

Зачем и почему (лат.).

10

Как, когда, чтобы, о если бы (лат.).

11

Слова Христа: «...если... не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Евангелие от Матфея, XVIII, 3).

12

Аристарх Самофракийский (1-я пол. II в. до н. э.) – греческий филолог; его имя стало нарицательным для обозначения доброжелательного критика и подлинного ученого.

13

Волшебница Армида – персонаж из поэмы Торкватто Тассо (1544–1595) «Освобожденный Иерусалим». В свои сады заманивала рыцарей-крестоносцев.

14

По-видимому, имеется в виду Катон Старший (234–149 до н. э.) – римский государственный деятель и писатель, поборник общественных интересов и чистоты нравов.

15

Цинциннат (V в. до н. э.) – римский патриций; по преданию, был олицетворением верности гражданскому долгу, доблести и скромности.

16

Сцевола, Гай Муций – по преданию, римский юноша-герой, пробравшийся в лагерь этрусков, чтобы убить этрусского царя. Будучи схвачен, сам опустил правую руку в огонь, чтобы показать презрение к боли и смерти.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке <http://filosoff.org/> Приятного чтения!

ский Д. Из Собрания стихов (1904), Собрания стихов (1910) и Полного собрания сочинений (1912) fil  
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,  
недвижимость. Здоровый образ жизни.  
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет  
магазин обуви Интернет магазин  
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных  
сайтов. Интеграция, Хостинг.  
<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!